

XIX

Новая жизнь. Приветствую тебя!..

Опять грохот пролетов по камням мостовой, опять городская суета и торопливость... Люди, лошади, конки, велосипеды, вывески, вывески, вывески... Телеграфные столбы, телефонные сетки на крышах. Крики, говор, звонки... Знакомый гул большого города... Словно я долго стоял с заткнутыми ушами и с закрытыми глазами — и вдруг раскрыл глаза и ототкнул уши...

Все знакомо, все это по-старому. Но теперь сам я — другой, и новая жизнь начинается для меня в городе... Теперь я — студент!..

Много хлопот, веселых, интересных, совершенно новых и значительных. Во-первых, надо найти комнату поближе к университету; во-вторых, побывать в канцелярии университета и поменять свой гимназический временный билет на студенческий; в-третьих, потолкаться в университетских коридорах и лабораториях и повидаться с товарищами и однокурсниками; затем надо купить новый плед, кое-какие лекции; наконец, надо... Одним словом — только повертывайся!..

Вот он, университет!.. С чувством гордой радости вхожу я в твои заветные двери... Сколько раз я, торопясь, с ранцем за спиной, в гимназию, завидовал студентам, без страха и ненависти, без торопливости и оглядки входящим в двери своего храма науки... И вот теперь и я вхожу в этот храм, свободный и независимый человек, с папиросой в

зубах и с пледом на плече. Высокий и огромный вестибюль с лестницами вверх и с коридорами во все стороны... Мудрецы и философы древности смотрят на меня с каменных пьедесталов из стальных ниш, и, глядя на них, уже начинаешь чувствовать себя серьезным и умным, совершенно взрослым человеком... Да, покончено с мальчишеством. Довольно этих глупых романов с любовной канителью, сентиментальностью, слезами и клятвами!.. Не такое время... Родина ждет честных работников, требует жертв и отречения от благ личной жизни... Вот только устроюсь и примусь за дело.

— Эта комната отдается?

— Эта самая, только я студентов не пускаю.

— Почему так?

— Беспокойные. В прошлом году замучили обысками да допросами...

— Жаль, комната подходящая...

— А вы — смирный?

— Хм... ручаться за себя не могу: студент.

— Ну, так уж извините.

— Извиняю.

Черт бы вас подрал! Боятся студентов, как зачумленных: уже в третьем месте не пускают студентов. Все ноги измотал, бегая в поисках комнаты. Только под вечер напал наконец на порядочных людей: старушка с сыном; сын тоже студент, хмурый и, по-видимому, дельный парнюга... На

третьем уже курсе, медик. Медики симпатичнее, напрасно я подал на юридический... Наплевать; не поправится, так перейду на медицинский.

— Когда переезжаете?

— Сейчас.

— А где живете?

— Покуда не живу: вещи — на пристани. Поеду за ними.

Ну, слава Богу, наконец водворился. Славная комнатка: располагает к одиночеству и работе; два окна в сад, ход отдельный, хозяйева далеко, кухня — тоже... Старушка заботливая: и графин с водой, и коврик у постели, и даже зеркало. Дюпонтная этажерка, пузатый комод, два стула, умывальник с тазом и два стола: один для хозяйства, другой — письменный... Отлично. Больше и желать нечего. Развесил по стене портреты Чернышевского, Некрасова, Добролюбова и Дарвина. Великолепно: комната сразу приняла внушительный и молчаливо-говорящий вид. Когда Николай Иванович — так звали студента, сына хозяйки — зашел, чтобы узнать, всем ли я доволен и не надо ли мне еще чего-нибудь, — он сразу понял, с кем имеет дело. Прощаясь, он крепко пожал мне руку и тихо сказал:

— Не желаете ли до утра иметь одну редкую книжечку?

— Какую?

— «Письма» Миртова. Только до завтрашнего утра!..

— Конечно, коллега!.. Очень рад. Я уже в гимназии слышал об этой книге, но не удавалось...

Всю ночь напролет я читал «Письма» Миртова, напечатанные на скверном гектографе, и вздрагивал и прислушивался всякий раз, когда тишина ночи нарушалась каким-нибудь звуком на дворе или в соседних комнатах. «Обыск!» — мелькало в сознании, и тревожно стучало сердце и звенело в висках. И все-таки кончил... Да, вот она, вся суть нашей жизни!.. Сразу на девяносто градусов поумнеешь после такой книжечки. Точно глаза раскрылись, слепые раньше глаза... И так ничтожна и пуста показалась мне теперь моя прежняя жизнь, что захотелось искупить, наверстать потерянное время, забыть и не вспоминать своего прошлого «бессознательного прозябания»...

— Удивительная книга! — сказал я на другой день, возвращая с глубокой благодарностью «Письма» Миртова, и при встречах с товарищами прежде всего осведомлялся:

— «Письма» Миртова читал?

— Нет. А ты?

— Читал, конечно.

— Это... нелегальное?

— А ты думал — «одобренное» начальством?

— Как же ты добыл?

— Ну, брат, на такие вопросы не отвечают...

С каждым днем университет становился шумнее, многолюднее. Как птицы разных пород и разных стран, слетались в одно место молодые костромичи, самарцы, саратовцы, астраханцы, вятчане, пермяки, сибиряки — и площадка, и коридоры университета напоминали смешанный птичий разговор... Молодые умные лица, веселые глаза, здоровый смех, приподнятое настроение. Кипит жизнь, торопливая, жадная, ищущая... Хорошо чувствовать себя членом этой шумной жизнерадостной молодой толпы... То растает она по аудиториям и стихнет, то вновь вырастет и загудит, как улей...

В свободный час между лекциями приятно посидеть в библиотеке-читальне: тихо, напряженно тихо, только один шелест газет, книжных страниц, шаги на цыпочках и шепот. Слово в храме — священнодействие. Серьезные углубившиеся лица, склоненные головы с упавшими прядями волос, и словно вся комната пропитана какой-то невидимой мозговой энергией...

Кончились лекции. Шумными компаниями расходимся по кухмистерским и «домашним обедам». Кормят «дешево и сердито». Приятно после такого обеда заказать дома самоварчик, посидеть за чайком и побренчать на гитаре.

— Николай Иванович, хотите стакан чаю?

— Спасибо, я не за этим... Вот что, товарищ: не разрешите ли воспользоваться вашей комнатой сегодня вечером для кое-какого дела? У меня тесно, а на собрании будет человек двадцать...

— Могу... В восемь я уйду и вернусь не раньше десяти.

— Вполне достаточно. Спасибо! Дело общественное, надо помогать друг другу...

Николай Иванович крепко пожал мне руку и ушел, а мне было хорошо и приятно, потому что я, хотя и косвенно, могу оказать услугу «общественному делу». Да, теперь ясно, что Николай Иванович стоит близко к тем людям, которые страшно меня интересуют и притягивают к себе своими героизмом и страданиями... Я их еще не знаю, но чем больше читаю их страстную, словно кровью и слезами облитую «нелегальную литературу», тем сильнее чувствую, что я с ними. Пока я хочу приблизиться к ним хотя бы небрежностью в костюме, пренебрежением к разным глупым приличиям, к воротничкам, галстукам, прилизанным прическам... Волосы — как у Чернышевского, шляпа — как у беспечного итальян-

ца, ворот рубашки — как у молодого Байрона, а в руках — толстая суковатая палка, как эмблема силы и прав «грядущего нового»... Я уже спорю с товарищами о «народниках» и «народовольцах» и в спорах стою на стороне последних: у них — гнев и огонь страстей, так близкий моей натуре... Не о них ли скорбит поэт этими красивыми стихами:

О, сколько, сколько пало их в борьбе за край родной,
Отважных, гордых, молодых, с открытою душой!..

Когда я прочитал биографию одной из павших в борьбе и последнее письмо ее к матери, я долго плакал в подушку, словно вернулся с кладбища, где оставил свою невесту...

— Милая, бедная... молодая, прекрасная! — шептал я, обливаясь слезами, и огонь мести сжигал мое сердце.

Я непрестанно думал о ней, воскрешал ее в своем воображении и был бесконечно счастлив, когда Николай Иванович достал мне ее портрет. Нет нужды, что портрет — туманная копия, может быть, с копии же... В этой туманности, словно из неведомой загробной страны, с нежной грустью и немим упреком нам, живущим, смотрят такие умные, проникновенные глаза... В поздний час ночи, когда кругом все затихало, я вынимал из потайного места портрет этой девушки и впивался в него взором, стараясь разгадать кротко светящуюся в глазах мысль... Какая ты была?.. Как ты улыбалась? Как звучал твой голос?.. О чем ты больше всего скорбела, уходя с земли молодою и прекрасною?.. О, как я любил бы тебя, если бы ты не ушла!.. Я отдал бы тебе свою жизнь и сказал бы:

— На, делай с ней что хочешь!

И снова и снова я перечитывал ее прощальное письмо к матери, начинающееся так странно просто и нежно, словно это пишет маленькая детка, страшно соскучившаяся по мамочке: «Милая мама!..»

Нет теперь тебя на земле, нет, быть может, и твоей мамы... А твой призыв к маме остался на земле и не дает мне спать, рождая слезы и скорбь, тоску и мстительность... Не могу спать! Твой образ стоит перед сомкнутыми глазами и шепчет: «Милая мама!», но светает на земле, пора тебе уходить в твое потайное убежище...

— Прощай, милая, бедная... прекрасная...

И я прятал портрет в потайное место... А сам долго еще не расставался с туманным образом оставившей землю девушки... Не знаю, может быть, я любил ее... Часто она приходила ко мне

во сне и, склонившись над моим изголовьем, шептала:

— Не грусти!.. Когда-нибудь мы с тобой встретимся...

И когда я вскакивал в постели, пробужденный этим шепотом, мне чудилось, что кто-то мягко и плавно уходит в дверь...

— Милая, милая, если бы ты вернулась на землю!.. Если бы я мог верить, что с нашей жизнью не кончается наша любовь!..

XX

Уже осень. Желтые, красные, оранжевые листья и голые прутья; дожди, ветер, жидкая грязь. Мутное небо. Бегут, бегут куда-то тучи, клубятся, как дым, и нет звезд ночью. Жалобно поет дождевая вода в водосточных трубах, и тускло мерцают фонари в лужах по панелям... Поднятые верхи извозчичьих пролетов, раскрытые зонты, грязные ноги в несурзных калошах, непромокаемые плащи... Хорошо в теплой уютной комнате, при лампе под зеленым абажуром, около грустно поющего остывающего самовара, с интересной книгой! Не хочется на улицу...

Утром трудно вылезать из-под одеяла, и особенно вкусен сон. Лениво бьют хозяйские часы девять. Надо вставать: в десять — лекция. Кухарка Палаша уже подала самовар и обычную французскую булку.

— А ты встанешь или нет? Наказывал в восемь, а теперь — десятый...

— Завари чай, Палаша!..

— Ну-ка, какой неженка!..

— Долго вчера читал.

— Николай Иванович давно в навирстет ушел, а ты... Околоточный приходил.

— Околоточный? Зачем?

— Небойсь, сразу проснулся... Спрашивал, почему вчера много народу было.

— Ну!

— Ну, сказала, как велел: именинник был...

— Ну и дура: рождение, а не именинник. Посмотрит в святцы и увидит, что врешь. Ну!

— Часто, говорит, у вас именинники очень.

— А ты ему?

— Не я, говорю, их крестила.

— Гм... Николай Иванович знает про это?

— А как же! Встал рано и забеспокоился. А вот ты прохлаждаешься... Он тебе записку оставил. На-ка вот!

«Коллега! Если имеете что-нибудь предсудительное, сейчас же сплавьте в надежное место: есть основание ждать гостей».

Вскочил как ошпаренный: в печке — еще сырой гектограф, а руки — в синих гектографских чернилах.

— Вот так штука!.. Палаша! Дай дров и растопки!

— Озяб? Я затоплю, дай управиться...

— Я — сам. Где дрова? Живо!

Ну, слава Богу: печка пылает огненными языками, и огонь-союзник быстро пожирает следы преступления. Жаль, да что поделаешь... Мою и скоблю руки, сержусь: не отмываются.

— Ты что, ровно бельё подсинивал?

— Картины, Палаша, красил...

Наскоро хлебнул чаю и побежал к товарищу, с которым вчера работал, чтобы подальше спрятал нашу свежую брошюру — «Хитрую механику»: пятьдесят экземпляров навалили с оповещением: «Издание партии Народной Воли»...

— Тревога, брат!

Задыхаясь, сообщаю о предупреждении Николая Ивановича.

— Как быть?

— На подволоку! Спустим на веревках между стен дома и обшивкой.

— Это — мысль!

Весь день прошел в тревоге. Ночь — тоже. Каждый стук, шум на улице, говор на дворе заставляли вскакивать и, подкравшись на цыпочках к выходной двери, прислушиваться и ждать звона шпор...

— Уф! Никого нет... Померещилось... А впрочем, милости прошу: у меня чисто, а потому, в сущности, глупо так волноваться. Спи, баба!

Так и не пришли, напрасно прождал... И всегда так: когда ждешь — ни за что не придут, а когда и в мыслях нет — как снег на голову.

Скоро обычный студенческий бал в пользу недостаточных товарищей. Первый бал в моей студенческой жизни. Это — целое событие, на неделю оторвавшее меня от занятий наукой и политикой... Попал в распорядители: почетно, приятно, но очень хлопотно. Выбрал благую часть: оборудование «Мертвецкой». Долго не разрешали «Мертвецкой»; однако мы добились своего под условием некоторых ограничений в правах. Уж какой бал без «Мертвецкой»: мы скорей согласились бы на бал без музыки!..

— Только без речей, господа!

— Я говорю о речах возбуждающего характера. Можете петь, выпивать, но прошу воздержаться от грома и молний. Иначе дворяне не дадут больше вам зал своего Собрании.

— Мертвецкая без речей...

— Все, господа, можно, но... должны быть границы. При закрытых дверях, конечно, как в семье,

но трудно, господа, уберечься от посторонних наблюдателей...

— За это ручаемся!.. Ни один прохвост не пройдет...

Отлично. Теперь закупки для буфетов: чайного и выпивального... Чайный всецело отдаем женщинам, курсисткам: им и книги в руки, а мы займемся только напитками. Подороже надо цены на хмельное, а то очень быстро «Мертвецкая» принимает хаотический характер: ссорятся и орут — не дают поговорить... Не все с этим согласны.

— Господа, я протестую. Дерите с буржуазной публики, а не с пролетария. У нас два буфета: верхний и нижний, один буржуазный, другой — демократический...

— Верно! Как же это не выпить в такой день? К черту аристократов!

— Пиво должно быть изъято от всякой пошлости.

— Тише, господа! Слова! И петь будем, и пить будем, а смерть придет — умирать будем...

— Браво, Касьянов!

— Пускай на верхах пляшут вальсы, пьют токайское и пробавляются адюльтерами, а нам — пиво, «барыня», «дубинушка» да речи!..

— Браво, Касьянов!

Демократы победили: налог оставлен только на благородные напитки, то есть коньяк, ликер, вина. Пиво и водка — по заготовительной цене...

— Браво-оо!..

Бал. Дворянское Собрание блещет огнями. К подъезду бесконечной вереницей подкатываются кареты и санки, из которых выпархивают, при помощи швейцаров, лакеев и кавалеров, полные грации и кокетства — закутанные в мантильи, капоры и пуховые шали девицы, за ними — полновесные мамы... Опережая их со всех сторон, бежит молодая «безлошадная» публика: студентки, курсистки, гимназисты, реалисты...

Широкие лестницы вверх убраны взятыми на подержание лаврами, олеандрами, пальмами. Благообразные студенты с цветными бантами на груди встречают и разводят гостей по местам. Белые туалеты, огни драгоценных камней, цветы, веера, прически, перчатки, фраки, голые плечи и руки, одуряющий запах духов и непрерывный радостный шум смеха и говора, шелковых шлейфов, стекларуса... И улыбки, улыбки, улыбки...

В «Мертвецкой» еще малоллюдно и благообразно. Молодые лица, оживленные разговоры, скромные платья, звон чайной посуды, острооты. Работает только чайный стол с пирожными и фруктами, а Касьянов с помощниками лениво толкуются за стойкой и безрезультатно дразнят бутылками...

- Плохо, Касьянов?
— Не пришел еще час наш.
— Игнатович! Вы обещали мне третью кад-
риль...
— Неправда!.. Почему третью?
— По любви...
— Не говорите, Касьянов, глупостей...
— До умного слова еще много осталось...
— Началось!..

Сверху доносится загремевший рояль... Сразу все притихло на лестнице и в «Мертвецкой»...

После первого отделения концерта — наплыв в «Мертвецкую» чистой публики: разряженные барышни, под прикрытием кавалеров, с затаенным любопытством и некоторым страхом прохаживаются по «Мертвецкой» и разочаровываются:

— Чего же тут неприличного?.. Мама пугала, что тут Бог знает что!

— Ложные слухи! — произносит из-за стойки Касьянов и вздыхает.

Курсистки делают друг другу большие глаза. Потом дружный веселый хохот и остроты на счет Касьянова:

— Касьянова-то и не заметили!..

— Я, кажется, вполне приличен, медам распорядительницы...

Наверху хор студентов пропел три раза «Гаудеамус», и гром аплодисментов, грохот передвижаемых стульев и хаос отдаленного говора сотен голосов возвестил об окончании концерта... Скоро сверху полился плавный и задорный вальс. Начались танцы.

«Мертвецкая» ожила: сюда схлынула вся демократическая публика и заняла все столы, стулья, подоконники... Зазвонили стаканы, захлопали пробки, и к черту полетел всякий порядок... Говор, смех, споры... Кто-то уже затягивает «Дубинушку»:

Много песен слышал я в родной стороне,
Не про радость, а горе там пели,
Но из песен из тех в память врезалась мне
Одна песнь про родную дубину-у...

И все, умеющие петь и не умеющие петь, грянули:

Э-эх, дуби-и-нушка, ух-нем,
Э-эх, зе-ле-на-я сама пойдет...
Сама пойдет, сама пойдет, да ухнем!..

Сейчас же нашелся другой, лучший запевала, и не успел еще хор кончить «ухнем», как он из дру-гого угла гулким басом, с душевным надрывом, затянул:

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать невмочь, —
Он затынет родную дубину-у-у...

И гремит хор сильных молодых голосов, за-глушая игривый, певучий вальс наверху. Поют, словно хотят отдать этой песне всю силу своей молодости, своей удали и всех светлых надежд на будущее. Как молитву поют, с восторженными лицами, горящими глазами, живыми жеста-ми. И когда стоишь в этой поющей толпе и сам поешь, разгорается в душе жажда неведомой борьбы с неведомым врагом... Угораешь от этой соборной песни... Не там, наверху, студенческий праздник, а здесь, в тесных и душных комнатах, в облаках табачного дыма и в гуле и раздолье лю-бимых песен...

— Братцы! «Выдь на Волгу»!

— «Выдь на Волгу»!

И бас с надрывом уже начинает, а хор подхва-тывает:

Выдь на Волгу, — чей стон раздается
Над великою русской рекой.
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бичевой...

— Ти-ше! Ти-ше!

— Слова! Слова!..

— Товарищи! Ти-ше!

Кто-то стоит на столе и беспомощно размахи-вает руками. А в другом углу затягивают «Черную галку»...

— Ти-ше!

Стук по столам, ногами по полу. Притихли. На столе лохматый Николай Иванович. Приятно: точ-но сам говоришь. Я уже заранее согласен со всем, что скажет мой сожигатель: мы — единомышлен-ники...

— Господа! Товарищи! Братья и сестры!

— Родные и двоюродные!

— Тише, Касьянов!

— Вон Касьянова!..

— Говорите, товарищ!

«Нам разрешили плясать, петь и пить... Но по-требовали, чтобы мы молчали, т. е. не обменива-лись нашим образом мыслей... Господа, не время предаваться благоговейному молчанию. И если мы, студенты, будем молчать, то заговорит Ва-лаамова ослица!..»

— Бра-а-во!

Дружный взрыв рукоплесканий, смеха и поощ-рений.

— Ти-хо! Ти-хо!..

«Господа! Я отвечу им, поборникам глубоко-мысленного молчания, словами поэта:

Над вольной мыслью Богу неуютны
Насилие и гнет...
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!..»

Снова грохот плескающих рук, топочущих ног, стульев, криков «браво» и снова напряженное внимание и вибрирующий от волнения страстный голос оратора...

Я слушал и дрожал, как в лихорадке. Словно камнями, оратор кидал сильными и образными словами и сравнениями в стены, за которыми спрятались зло жизни, и одного за другим выводил оттуда его виновников. Я пожирал глазами оратора, и душа моя рвалась обнять его, и плакать у него на груди, и клясться, что я готов на жертву... Когда я оглянулся и обвел взором товарищей, мои глаза встретились с сотнею горящих, сверкающих глаз, в которых трепетали молодые души слушателей... Счастливый оратор!.. О, если бы я мог говорить такими огненными словами и сливать людей в одну душу и одно сердце!.. Кончил: «Нас обвиняют в жестокости... Нет, мы не жестоки... Мы болеем душой за всех гонимых, болеем за дорогую родину... И во имя любви к ним зовем вас на подвиг... Любовь, большая любовь, чужда смирению... Господа!

Любовь к нам явилась облитая кровью
С креста, на котором был распят Христос!..»

Шумный экстаз пылающих душ... Крики, стук по столам, о пол... Благодарные руки тянутся к оратору, многие целуют его... А кто-то уже взобрался на подоконник и требует слова... Но в дверях — смятение: свистят, грозят и кого-то гонят вон... Под дружный смех...

— Братцы! Братцы! Не пускать сюда буржуазию...

А в углу снова пение:

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не слышал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не страдал...

— Господа! Профессор Загоскин!

— Тише!

— Профессор Загоскин!

— Качать!

— Качать! Качать!..

И любимый профессор, под гром аплодисментов, плавно взлетает в высоту, беспомощно взмахивая руками... А наверху — победные взрывы

мазурки из «Жизни за царя» и глухой топот бесчисленных ног: словно там целый эскадрон носится по паркету, потрясая оружием...

XXI

С головой ушел в общественные дела: я — библиотечкарь, судья чести, казначей землячества, курсовой староста... Хлопот и беготни — не оберешься. Не хватает времени. Наука уже не кажется, как раньше, самым важным и первым делом. Товарищи относятся с уважением, да и сам чувствуешь, что ты — не заурядный первокурсник, а — «сознательная личность», о которой пишет в своих письмах Миртов... Неутолимая жажда работать — неудовлетворенность от сознания, что надо делать что-то большое, значительное, а делаешь пустяки... Как подойти к этому большому? Как попасть в настоящее дело?.. Все стоишь где-то в стороне, сбоку, около. Конечно, и на этом месте ты полезен, но в душе есть смутное предчувствие, что не пришел еще твой настоящий час...

— Николай Иванович! Я хочу поговорить с вами...

— Отлично. В чем дело?

— Я хочу поступить в партию...

— Ну-с!

— Как это сделать?

— Почему же вы спрашиваете об этом меня? Это странно.

— Я думал, что вы... вы... можете...

— Напрасно. Я вам не давал повода.

— Вы мне не доверяете?.. — спрашиваю, опустив голову, и вспыхиваю от обиды. На глазах — слезы. Губы дрожат.

— Обижаться тут не на что: если бы я был даже в партии, я уклонился бы от этого разговора. Мы еще мало знаем друг друга, и потом... Вы делаете свое дело, помогаете, вы на своем месте... Вы, государь мой, смешно рассуждаете: поступить нельзя, надо сделаться...

— Не понимаю... Как это сделаться?.. Сам я не могу сделаться...

— А вдруг вы уже сделались?

— Даю вам слово, что — нет... Иначе я не просил бы вас... Не понимаю...

— Не сердитесь. Я вас люблю и уважаю... Юны вы еще... Не закалились...

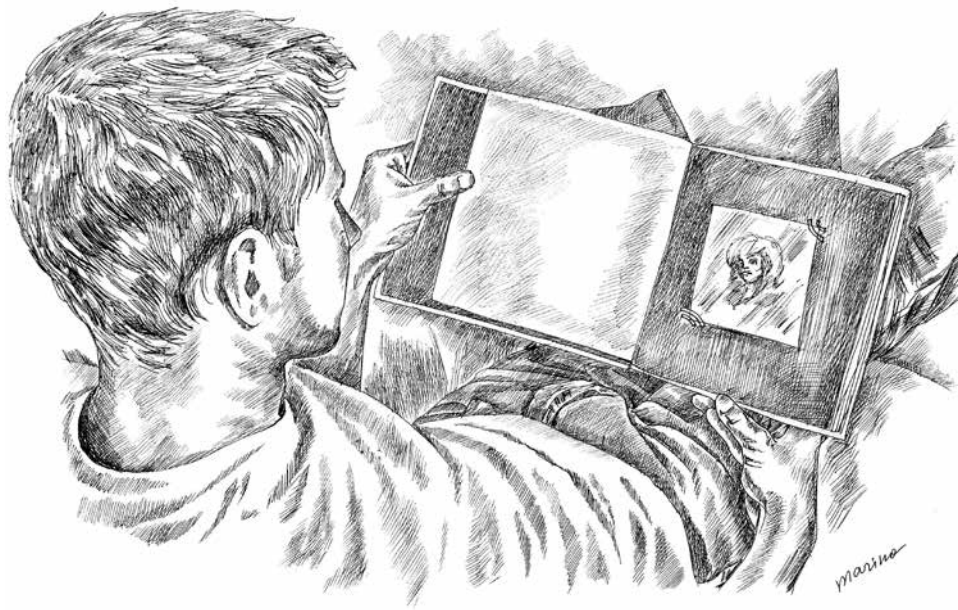
— Но вы мне верите?

— Да. Кто это... в альбоме?.. Сестра ваша?

— Это... Это... одна знакомая девушка.

— Какое милое лицо!..

— Да...



Когда вышел Николай Иванович, я раскрыл альбом с родными и знакомыми и отыскал портрет Зои. Чем-то родным и далеким повеяло на меня от него, и грусть о чем-то прошлом и милом стала наполнять душу. И чем дольше я смотрел на портрет, тем сильнее становилась грусть. С печальной улыбкой смотрели на меня знакомые глаза, и нежная застенчивость светилась в них затаенным огоньком пугливой девичьей любви. Ведь снималась она для меня, «на прощанье»!.. И вдруг я вспомнил золотисто-розовый вечер на Волге, пароход, окно каюты и девичье личико, смущенное, украдкой бросающее на меня пугливый любящий взгляд:

— Мне стыдно...

Удивительно близкое, родное лицо... Кого она напоминает?.. Да, да, она похожа на ту, которую я люблю втайне, далекую, навсегда ушедшую с земли и перед смертью кроткими, тихими, ласковыми словами безысходной скорби утешавшую мать: «милая мама»... Та, ушедшая, — старше, и печаль ее глаз глубже, но, быть может, когда она была гимназисткой — и у нее в глазах так же светился огонек радостных предчувствий любви и эта милая застенчивость. С лихорадочной поспешностью я достал из тайного убежища «запрещенный» портрет и стал сравнивать этих двух женщин: ушедшую с земли и ушедшую из сердца. Да, удивительное, странное сходство! Точно две сестры. Вот эта — старшая, а эта — младшая. И не похожи, и похожи. Трудно уловить, в чем сходство, но оно поразительно. Именно так бывает иногда с сестрами... Соня и Зоя. Сестры. Старшую я люб-

лю, но она никогда не узнает этого, и никогда я не увижу ее и не скажу ей о своей любви, а младшую я любил и... она знает и любит меня, но я...

— Прости меня, Зоя!.. Я так виноват перед тобой, моя белая, чистая девушка с золотыми косами. Пришел черный дьявол и украл у меня твою любовь... Где ты, и вспоминаешь ли ты о том, как мы с тобой встретились и как полюбили друг друга? Как мы ехали с тобой на пароходе и как расстались, не думая, что никогда уже более не встретимся?

Я куплю красивую раму и выну тебя из этого старого альбома: прости, что я оставлял тебя вместе с этим черным дьяволом, укравшим наше счастье.

Я купил красивую раму из красного дерева с бронзовыми украшениями и вставил в нее обеих женщин: младшую, Зою, — впереди, а старшую, Соню, — позади, позади, чтобы она по-прежнему жила в моей комнате невидимо... И когда я, отрываясь от книги, взглядывал на портрет в раме, я всегда видел обеих; видимую и невидимую... Они сливались воедино, и рождался какой-то общий, мутный образ далекой девушки, которую я любил, люблю, но потерял и теряю. Трудно передать это словами, но, быть может, я подойду ближе к передаче своего чувства, если сравню его с тем, которое испытывает потерявший любимую женщину человек при виде очень похожей на умершую сестры ее: острое сострадание и острая радость, прошлое в настоящем, настоящее в прошлом, мертвое в живом и живущее в мертвом... Далеко и близко... И когда товарищи спрашивали меня, кто это стоит у меня на столе в красной раме, я говорил с печальным вздохом:

— Моя умершая невеста.

И когда я перед сном долго всматривался в образы этих двух женщин, мне снились прозрачные, нежные, радостные сны, тонкие, как серебряная паутина, хрупкие и неуловимые, пугливые, которых никак не вспомнишь при пробуждении; а когда смотрел на черную Калерию, то снились нечистые огненные сны, сумасшедшие женщины,

грозы и вихри, красные губы и пьяные глаза — нечистые сны, от которых и после пробуждения я еще долго не мог прийти в себя и стряхнуть с души кошмар ночных видений... И когда после таких снов посмотришь на стоящий на столе портрет в красивой раме, печаль и стыд грызут душу... Лучше не смотреть на этого черного дьявола и на ее колючку с красным рубиновым огоньком. Бросить это проклятое кольцо... Почему жалко его бросить? Ну, спрятать его подальше, чтобы не попадалось так часто на глаза. Маленькое колючко, едва влезает на первый сустав мизинца. У нее были удивительно тонкие руки, цепкие и тонкие... Где теперь она и что она думает обо всем, что случилось? Ах, да Бог с ней! Какое мне дело, где, с кем, что думает?..

— Прости меня, чистая белая девушка с золотыми косами!.. И хотел бы, и боюсь с тобой встретиться.

— Мне стыдно...

Быстро летит время; незаметно подкрались полукурсовые экзамены... Надо наверстывать время, отданное общественным делам... Охо-хо, ничего-то я не знаю... «Энциклопедия права»... Что за штука такая?..

— Право понимается в двух смыслах: субъективном и объективном. Так-с! Пускай его! «Право в субъективном смысле...»

— Зудишь?

— Здравствуй! Читаю Энциклопедию права.

— Скучная материя...

— Я только что начал. Говорят — режет?

— Меня прогнал: я отнес к естественным правам человека право отвечать на насилие насилием...

Весело хохочем над смущением профессора и собственным остроумием...

— Ну, ну, а — он?

— Государство, говорит, несовместимо с насилием... Хотя, говорит, в некоторых случаях оно допускает принудительный образ действий, но и т. д. Заспорили; я закидал его фактами и противоречиями. Обозлился и прогнал. «Права!» Одни жрут до отвала, а другие — подышают от голода; а когда начинают кричать — им затыкают рот тюрмами, ссылками, штыками... А мы с тобой кончим юридический и сделаемся слугами этих «прав»...

— Черт с ними, с этими правами! Я перейду на медицинский. Там и публика приятнее.

— Не забудь, что сегодня — собрание. По-моему, нечего прятаться, и надо назвать наш кружок не «Союзом прогрессивного студенчества», а «Союзом молодых народовольцев»...

— А имеем ли мы право так называться?

— Ну, право — «право»!.. Ты уже помешался на правах... К нам присоединяются две курсистки: Вера Игнатович и Надежда Корнева...

— Да ведь они — «землеольцы»!

— После нашего спора с противниками переходят к нам.

— Bravo!

— Это твоя победа. Ловко ты их тогда разделал. Во все стороны перья полетели...

— Я?.. Гм!..

Товарищ ушел, а я долго ходил по комнате, гордо поглаживал себя по голове и говорил:

— Молодчина!.. Ей-богу, ты неглупый парень.

А потом схватил портрет и поцеловал Зою, шепнул через нее Соне:

— Нашего полку прибыло!

У нас есть нелегальная библиотека и гектограф, но библиотека — жидковата: десяток брошюр и десяток запрещенных книг, а гектограф... очень уж несовершенное орудие: больше измажешься, чем наработаешь, да и невнушительно. Вот хоть плохонькую типографию соорудить бы!.. Трудно. Нет связей с наборщиками: наворовали бы. Шевелится смутный вопрос: «честно ли это», но сейчас же и затихает:

— Не с корыстной целью, а для общего блага!.. Бывают случаи, когда цель оправдывает все средства. Ах, если бы типография!..

Однажды, когда я поздно ночью вернулся с окраины города с испачканными синими гектографическими чернилами руками и наскоро отмывал их в темной кухне, Палаша проснулась и сонным голосом сердито сказала:

— Шляешься — не знай где... А тут два раза барышня приходила к тебе.

— Какая барышня?

— А я почему знаю! К тебе много ходят. Записку на столе оставила.

«Милый, родной мой! Я — приехала. Остановилась пока в меблированных комнатах "Заря", на Проломной улице. Приходила к тебе дважды. Жду тебя завтра утром. Твоя З.».

Сперва я страшно испугался. Словно меня поймали на месте какого-то скверного преступления. Я запер дверь, прилег на постель и притих. Что же теперь делать? Что делать? Как сказать, что я уже не тот, что все прошло и что она ошибается, называя меня прежним «родным и милым»?.. Что я наделал! Зачем я не написал ей, что все кончилось, что все это было ошибкой, увлечением, которое кануло в прошлое и не может вернуться?.. Нет сил пойти и сказать все это прямо в лицо. Лучше написать. Я вскочил с кровати и стал писать нервно, торопливо, словно боялся, что она может каждую

минуту прийти ко мне. «Многоуважаемая». Нет!.. «Добрая, хорошая Зоя Сергеевна»... Нет! Нет! «Милостивая государыня»... Нет, это жестоко и пошло. Я рвал бумагу и волосы на глупой голове, которая отказывалась помочь мне в этом затруднении. Можно не называть.

«Наша близость была ошибкой. Что прошло, то не вернется. Простите меня. Надеюсь, что это не помешает встречаться нам товарищами...»

Написал, заклеил в конверт и положил на столе. Лег и снова вскочил, разорвал конверт и стал перечитывать и писать, варьируя все те же жестокие слова и не находя других. А из рамы на меня смотрели с нежной грустью и застенчивой лаской глаза белой девушки и словно молили о пощаде.

Милая, бедная голубка! Ну, как же нам быть и что мне сказать себе? Может быть, я немного люблю еще тебя, но потух тот пламень, которым горела душа при каждом твоём слове, при одном звуке твоего милого голоса, при каждой случайной встрече наших глаз. Моя любовь к тебе покрылась какой-то грустной дымкой прошлого и не вспыхивает прежним пламенем. Тяжело мне, дорогая. Но я не виноват: я тогда верил, что моя любовь к тебе непобедима. Я хотел бы упасть к твоим ногам и поплакать, я хотел бы рассказать тебе, как все это случилось... Но ты оттолкнешь меня и не захочешь моей правдивой исповеди. Да и сил нет пойти к тебе, называющей меня «милым и родным», и разбить твоё золотое сердце. Я боюсь посмотреть в твои глаза, потому что они не встретят в моих ответного восторга и трепета любящей души... Надо все это написать, чтобы ты поняла и простила. Ты ведь добрая и кроткая, ты — чистая, а я... уже грязный... Как сказать тебе об этом? Зоя, Зоя! Лучше бы ты не приезжала... Обоим было бы лучше и легче...

Всю ночь напролет я метался в постели и по комнате, а когда Палаша завозилась в кухне, я потихоньку вышел на улицу и побрел к меблированным комнатам «Заря». Было еще очень рано и не было опасности встретиться. И все-таки я долго бродил по другой стороне улицы, не решаясь приблизиться к дверям «Зари». Наконец решился, быстро вошел в крыльцо и, подав швейцару свое письмо, строго приказал:

— Немедленно передайте в № 24.

А потом быстро вышел и еще быстрее зашагал прочь с чувством радостного освобождения от лжи — и глухой тоски по чему-то навсегда утерянному. Домой я не пошел: что-то пугало меня идти туда, и я очень долго бродил по отдаленным улицам и закоулкам, пугаясь встречных девушек, в которых мне поминутно чудилась Зоя...

— Письма или записки не было?

— Нет.

— Кто-нибудь был?

— Был. Студент.

— А барышни никакой не...

— Не было!..

Так начиналось теперь каждое мое возвращение домой. Когда Палаша говорила, что была барышня, я начинал подробно выспрашивать ее, какая из себя та барышня, и помогал Палаше нарисовать Зою:

— С большими золотыми косами, да?

— Нет, какие там косы! Стриженная... К тебе с косами-то не ходят.

Когда признаки подходили, я показывал Палаше портрет:

— Не эта?

— Да ведь ты сказывал, что эта померла уж!

— Не твоё дело... Воскресла, значит!..

— Эх ты, безбожник!

Ничего не ответила мне Зоя. Напрасно я ждал письма с упреками, слезами, мольбой... Ничего! Оборвалось и упало в пропасть все, что было... Чего же я жду и зачем так упорно справляюсь у Палаша? Почему меня преследуют мысли о Зое и почему мои взоры на улицах пылливо скользят по встречным девушкам с затаенной надеждой встретить именно ее? Почему я каждый день подолгу смотрю на портрет и улыбаюсь ему грустной улыбкой? Не знаю, ничего не знаю. Где она теперь? Быть может, она уехала из города, и я напрасно боюсь и надеюсь с ней встретиться... Какая она стала теперь? Как она переживает наш разрыв? Быть может, не переживает его, а, быть может, уже примирилась, и кто-нибудь из студентов снова разбудил ее красивую душу, и она снова кому-нибудь стыдливо опускает ресницы... Почему — нет? Ведь я... Ах, проклятый черный дьявол с черным пламенем в бесстыжих глазах, зачем ты встал на нашей дороге и разрушил такое чистое, красивое счастье? Где ты, Зоя? Мне хотелось бы узнать только одно: здесь ты или тебя нет в этом городе, где живу я...

Несколько раз я порывался зайти в «Зарю» и спросить, не здесь ли до сих пор живет Зоя, но не решался. И вот однажды...

Курсистки-фельдшерицы устроили вечеринку, и я, как непрременный гость всех идейных вечеринок, конечно, попал и на эту. Было тесно, шумно и весело: говорили речи, пели, танцевали, декламировали запрещенные стихи. В числе любимых декламаторов был и я... Вот уже увидели, хлопают,

требуют, кричат по фамилии и называют любимое... Я гордо закидываю назад волосы, выхожу на маленькую эстраду, и воцаряется привычная уху тишина, чуткая, пропитанная нервным электричеством...

Что мне она: не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь?.. —

начал я декламировать и обвел взорами сверкающую глазами толпу студентов и курсисток. Что это? Чьи это глаза странно так, пристально и удивленно, смотрят прямо в мою душу? Неужели — Зоя!.. Я замялся, опустил глаза и каким-то чужим голосом продолжал декламировать. Меня тянуло в ту сторону, где я столкнулся взорами с той, похожей на Зою, девушкой, но я не смел туда смотреть... Кончил — шум аплодисментов и крики «бис!». Я раскланялся, показал жестом руки на шею и сошел с эстрады, отговариваясь болезнью горла, забрался в буфет и боялся выйти в зал. Окружив себя товарищами, я пил с ними пиво, говорил о серьезных вопросах, а сам трепетал от страха и радости какого-то ожидания... Она, она! Это ее глаза смотрели на меня с каким-то грустным изумлением. Я это не только увидел, я это почувствовал... Еще раз, хоть один только раз, увидеть бы ее всю, а не одни глаза... Она, она!..

Я низко опустил голову: мимо, под руку с Верой Игнатович, проходила Зоя. Торопливый жадный взгляд вслед уходящим: точно выросла на целую голову, стройная, гордая, с теми же тяжелыми золотыми косами, оттягивающими назад голову, та же плавная походка. И та, и не та.

— Ты что покраснел?
— Зубы заболели. Горло и зубы.
— Выпей коньяку: от зубов хорошо помогает.
— Коньяку? Что же... Пожалуй!
— Возьми полбутылки: у нас тоже зубы ноют...

Деньги есть?

— Сколько угодно: только вчера из дому поддержку получил.

Взяли коньяку, стали пить. У меня быстро затуманилась голова, и пропал страх перед Зоей. Ну что ж, пусть проходит: я встану и раскланяюсь. В сущности, я ничего подлого не сделал, я сказал ей только то, что должен был сказать. Любовь — свободна...

— Выпьем, братцы!

И я затынул из «Кармен»: «Любовь свободна»...

— Посмотри, как похожа эта девица на Маргариту!

— Где?

— А вот, со студентом!..

— Да...

— Хорошенькая! — сказал один из компании и подмигнул.

— Пошляк! — бросил я в его сторону и почувствовал глубокое оскорбление.

Начиналась ссора, но подошли две курсистки и быстро потушили наши сердца. В зале загремела музыка: старый знакомый такой вальс, и от этого вальса защемило в сердце. «Та-ра-ра-ра, та-та, та-ра-ра-та», — подтгивал я роялю, и мне хотелось упасть головой на стол и расплакаться. Почему? Не знаю, ничего не знаю... «Та-рам-та-та, та-тааа, тарам, та-та-та-таа...»

— Выпьем, господа! Все равно...

Потом я встал в дверях, скрестил по-наполеоновски руки и стал с грустной иронией смотреть на кружащиеся в вальсе пары. Подходили раскрасневшиеся курсистки и говорили:

— Я хочу с вами танцевать!
— Увы, не могу доставить себе этого счастья!
— Почему? Вы прекрасно танцуете, я видела...
— К сожалению, я не заводная игрушка и пляшу только в тех случаях, когда мне хочется.

— Извините!

— И меня равным образом.

Вздрогнуло сердце: взор поймал желанное. С кем это вы, Зоя Сергеевна, изволите так упоительно вальсировать? А-а, с самим распорядителем!.. Мастер своего дела... Как качаются тяжелые косы... Красивая головка. Правда: она напоминает Маргариту... «Тарам-та-рам-та-та». Не обращает внимание. Ну, что же поделаешь! Бог с тобой, Зоя!.. Улыбается этому болвану-распорядителю. Очевидно, напрасно я воображал, что мое письмо убьет в ней всякую радость. Эх, вы!.. Все вы — одинаковы!

— Тарам-та-та-та-раам... та-та-таа, та-та... Идемте, Игнатович, вальс!

— Идем!

Я подхватил Игнатович и с каким-то ожесточением стал кружить ее в вальсе.

— Будет, будет!.. Голова кружится... Ах, противный какой!..

— Мерси!

Посадил Игнатович и пошел опять к товарищам. В дверях, лицом к лицу, — Зоя, преследуемая распорядителем. Как огнем обожгло душу и не стало сил пройти мимо, притворившись незнакомым:

— Здравствуйте, Зоя Сергеевна!

— Здравствуйте!

— Пойдемте танцевать... вальс!..

— Простите, я устала...

— Зоя Сергеевна устала...

— Извините, но я приглашаю не вас, а вашу даму...

Вот нахал! Нацепил на грудь дурацкий бант и воображает, что он неотразим. Погоди, я тебя научу деликатности. Пора бросить это глупое, бесцельное круговращение.

— Господа! Я прошу слова.

— Музыка! Молчать!

— Тише!

Я встряхнул головой и начал речь. Никогда в жизни я не был так красноречив и никогда не горел так в своих словах, как в этот раз. С дрожью в голосе я говорил о зле, опоясавшем железным кольцом всю землю, со страстным порывом призывал всех к битве с этим злом, со слезами в глазах бичевал всех, не исключая себя, вызвал перед слушателями образ моей любимой, погибшей в бою женщины и, на память читая ее прощальное письмо к матери, неожиданно для себя разрыдался... Гром рукоплесканий перемешался с криками «тише!», с моими рыданиями, с встревоженными голосами девушек, не знавших, как и чем выразить мне свои симпатии, и со всех сторон протягивающих мне руки со стаканами простой и сельтерской воды. Кто-то требовал доктора...

— Голубчик, что с вами?!

Кто это? Такой нежный, ласковый голос, готовый оборваться слезами...

— Не знаю, Зоя!.. Ничего не знаю...

— Не надо, Геннадий, плакать...

— Да, да... Я не буду... Я не знаю.

Я вскинул глаза на Зою: она отирала платочком слезы, и все лицо ее пылало огненным румянцем.

— А вы-то что, Зоя Сергеевна...

— Не знаю... Вы так говорили... У меня все время прыгали эти глупые слезы...

Нас окружили плотным кольцом, и нельзя было уйти...

— Господа, вы нас арестовали! — сказал я с улыбкой окружающим, и гром новых рукоплесканий, веселого смеха и криков «браво» ответил на мою жалобу...

— Музыка! Играй! Музыка!..

— Вальс! — прокричал я и умоляюще взглянул на Зою.

— Ну ладно... пойдете уж!..

Зоя кинула веер не отстающему от нее распорядителю и положила руку на мое плечо... Мы закружились в вальсе, и я, как прежде, шептал тихо:

— Милая, милая... если бы ты знала!..

— Не говорите мне «ты»...

— Простите!..

— Мы только товарищи...

— Будем ли мы видеться?..

— Если случится. Что прошло, то невозвратно... Будет! У меня кружится голова... Мерси!

— Мерси!.. Я хотел бы проводить вас до дому... Могу я...

— Извините: Зоя Сергеевна дала мне слово!

— Да, меня проводят...

Опять этот болван-распорядитель... Неужели она...

— Касьянов, хочешь коньяку?

— Еще бы! Вот глупый вопрос.

— Идем в буфет!

Вернувшись на рассвете домой, я уселся за столом перед портретом Зои и долго всматривался в ее лицо, тихо говорил с ним о жизни, о любви и смерти, о чистоте и грязи в поступках. В чем-то старался я оправдаться перед портретом и в чем-то убедить его. А портрет скептически смотрел на меня и ничему не верил.

— Ты чиста и прекрасна в чистоте твоей, но жизнь сомнет тебя... Не гордись предо мною! Тебе не нужна моя любовь... Вижу. Я отдам ее тем, которым не до любви и не до чистоты. Имеем ли мы право уходить в любовь и красоту, когда вокруг нас одни страдания?.. Правда, Соня? Да, конечно!..

Я вынул из тайника портрет Сони и в нем почерпал утешение:

— Ты поймешь и простишь, а эта красавица... слишком она красива!.. Не для нас она, а вот для таких красивых болванов, как этот распорядитель с глупым бантом на груди... Танцуйте, господа, Бог с вами!.. Танцуйте!..

— С кем ты разговариваешь?..

— А, Палаша!..

— Никак плачешь?.. Об невесте, что ли? Не воротишь...

— Не воротишь, Палаша...

— Ты молодой еще... Свет не клином сошелся, найдешь другую. Девочек много. А мертвого слезой не подымешь... Самоварчик тебе надо?..

В голове зазвучал вальс, под который я кружился с Зоей, и воскресло ощущение ее близости: теплая рука на плече, золотистый локон волос на щеке, запах духов и порывистое дыхание...

— «Тарам-тата-та-тааа, а-та-та-та-тарам-тааа».

— А ты не пой! У нас спят еще...

— Спят. «Спи, кто может, я спать не могу!..»

— Ну хоть другим-то не мешай!